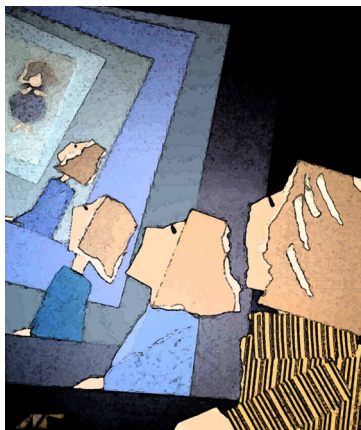


Перед зеркалом

В память о моей маме

Я потерялась



Я смотрю на себя в зеркало. Я смотрю каждое утро и не только утро. Я смотрела на себя вчера, позавчера, месяц назад, год назад и смотрю уже много-много лет. Я пытаюсь идти по длинному зеркальному лабиринту назад, туда, к моему первому зеркалу. Чем дальше я ухожу, тем зеркала становятся мутнее, налет времени скрывает четкие очертания лиц, событий, мелкие подробности и детали.

Убирается все лишнее. Остается главное — человек или событие, или пейзаж. И не важно, что размываются черты лица, теряются слова и яркие краски.

Важно то, что осталось в твоей душе, какой отпечаток, и то, что после встречи ты меняешься, становишься другим, не замечая этого еще долгое время. Ведь многие дни, недели, годы ты смотришься в зеркало каждый день и не замечаешь больших перемен в себе. И только идя назад по зеркальному лабиринту своей памяти, ты видишь эти изменения, превращения тебя в другого.

Когда я увидела себя в первый раз? Когда я осознала себя? Не помню. Это зеркало закрыто от меня. Парки, прядущие нити моей судьбы, накинули на него свои легкие воздушные покрывала. И только слабо, неясно виднеются какие-то размытые очертания, в которых пытаюсь угадать городской парк, в нем маленькую девочку, испуганно смотрящую по сторонам большого, чужого для нее мира.

А может быть, это потом уже, по рассказам я нарисовала себе эту трагическую для мамы картину моего исчезновения. Я потерялась!

А случилось это так. Моя старшая сестра, идя на свидание в парк, взяла меня с собой. Она была уже взрослой девушкой, но еще достаточно легкомысленной. Увлечшись беседой со своим кавалером, она совсем забыла обо мне. Не помню, как я оказалась в другом конце парка. Помню, что деревья были огромные, и мир, окружающий меня, совсем незнакомый. Я не плакала, не звала сестру. Я боялась или стеснялась останавливать людей и просить их о помощи. Просто шла, куда вели меня ноги. Теперь я хорошо понимаю детей, теряющихся и в страхе немеющих перед чужими взрослыми.

Это событие и было для меня первым моим узнаванием себя. Первое мое отражение в слезах, в страхе матери и сестры. И знак. Символ. Только сейчас я поняла, что этот знак всегда появлялся в самые важные, самые трудные минуты моей жизни. Страх потеряться. Страх большого и чужого мира.

Этот чужой мир окружал меня повсюду. Он был враждебен мне и моей маме. И ее взрослый страх передавался мне.

Мы жили в провинциальном молдавском южном городе Бельцы, небольшом, зеленом и очень пыльном. Зимой по улицам расплзалась черная жирная грязь, в которой вязли ноги. Ее месили ноги горожан и крестьян, колеса телег, наполненных углем, который развозили по домам. Уголь был мелкий, сплошная пыль, но заполучить даже такой было большой удачей. Весной и летом после проливных дождей потоки воды заполняли дороги и тротуары, а мои братья и я радостно пускали по ним бумажные кораблики. У нас с мамой была маленькая комнатка в одно окно, в упор смотревшее на глухую стену соседнего дома. И кроме стены, крыши и трубы, да узкой полоски земли и неба, ничего не было видно. Когда я слишком медленно ела манную кашу, а моя сестра, старше меня на двадцать лет, кормившая меня, торопилась на свидание или к подружкам, то сердито требовала от меня: «Ешь так, чтобы дым из трубы шел!» И я, торопясь и давясь кашей, доверчиво смотрела в окно и ждала, когда же пойдет дым. Коридора не было. И кухни тоже. Дверь из комнаты выходила на веранду, во двор. Правда, было крошечное пространство между комнатой и верандой. В узком пространстве между дверьми мама ухитрилась сделать полки. Они служили нам кухонным шкафом. В этой небольшой комнате были три двери. Одна вела на улицу, другая соединяла нашу комнату с соседней квартирой, которую занимала семья маминой младшей сестры, моей тетки Хели, третья, забитая фанерой, соединяла еще с одной комнатой, в которой жила соседка, тетя Шура, с мужем и сыном. Главное место в комнате принадлежало большой печке. Она была наша любимица. Она давала тепло и еду. Мама постоянно за ней ухаживала, белила, чистила. И она была настоящим украшением нашей комнатки. Только здесь, в тепле, за закрытыми дверьми мама могла расслабиться и чувствовать себя человеком, женщиной, матерью, полновластной хозяйкой. Еще был шифоньер, который отделял часть комнаты под кухню. Был стол, круглый. Маленькая этажерка для книг. Их было очень мало, но они были. Матрас на ножках и моя кровать. Над столом висела лампочка. Никаких абажуров. Потом уже, спустя годы, появился абажур, шелковый, с кистями.

Мама



Я смотрю пристально в зеркало, и предметы начинают четко приобретать свои формы, появляются краски, звуки – шипение примуса, скрип колес, крики точильщиков ножей. А что там за тем первым зеркалом? Там таинственная и страшная жизнь моей мамы. Это где-то в другом мире. О нем я еще мало знаю и многого не понимаю. Потом, на протяжении многих лет, я слушала и каждый раз переживала историю ее жизни, ее жизни до меня.

Она родилась в маленьком местечке Дрогичин над Бугом, где-то недалеко от Белостока. Местечко это не любила. Скорее, не любила ту жизнь, которая окружала ее. Мать ее, бедная, но гордая, страдала от нищеты и непрактичности мужа. Выдали ее замуж, не спра-

шивая, ведь была сиротой. О любви нечего было и говорить. Нашли неплохого доброго человека, дали полагающееся приданое, которое осталось от рано ушедших родителей.

Отец, мягкий и безотказный человек, решил на эти деньги открыть лавку на первом этаже своего маленького дома, проторговал два месяца и разорился. Всем давал в долг. Все это происходило во времена Российской империи в начале 20 века. Мама точно не знала своих года и числа рождения. В паспорте у нее стояла дата 12 декабря 1907 года. Она же считала, что, возможно, это был 1905 год. За трапезой мы часто выясняли, когда же это было. Какие события происходили в это время. Мама путалась, говорила, что в местечке, как она помнит, стояли немцы, которые учили строить уборные местных жителей. Семья была большая, пять детишек. Старшая сестра Фрушка была белошвейкой. Мама говорила о ней редко, с каким-то непонятным глубоко спрятанным ужасом. Она покончила жизнь самоубийством, выпив стакан уксуса. После ее смерти мама стала старшей из детей. Отец научился класть печи и стал неплохим печником. Все свободное время он проводил в синагоге за чтением Талмуда. Вероятнее всего, это вызывало раздражение жены, а вместе с ней и детей. Во всяком случае, мама всегда рассказывала о нем с оттенком жалости и в то же время презрения. Зато матерью она своей гордилась, ее статностью, происхождением, гордым независимым нравом. О происхождении, кстати, толком ничего было не известно.

В восемнадцать лет на плечи моей мамы легло непосильное бремя. Мать ее тяжело заболела. Мама вынуждена была ухаживать за семьей и за смертельно больной матерью. Воспоминания об этом времени она пронесла через всю жизнь. Многие были забыты, но рассказы о том периоде жизни отлились в отточенную форму и повторялись неизменно всю жизнь.

Она рассказывала, как ей тайком в субботу приходилось кипятить воду, чтобы помыть и напоить умирающую мать, и как к ним домой приходили из синагоги и запрещали это делать. Суббота — священный день! Это осталось в ее душе навсегда и оттолкнуло ее от религии. После смерти матери двое ее братьев, Борис и Михаил, тайком переправились через границу в Россию строить коммунизм. Ведь они были пролетарии, изгои. Дома остались уже немолодой отец, моя мама и еще совсем маленькая ее младшая сестренка Хеля. Перед мамой стоял выбор — ехать за братьями в коммунистическую Россию или в Америку, а на худой конец, в загадочный Израиль, где только начинало подниматься новое государство на земле обетованной. Туда ее звал поклонник, молодой сионист. Она выбрала тоже молодое государство, но только коммунистическую Россию. Все дети получили в наследство от отца непрактичность, доброту, доверчивость и большую дозу идеализма.

В стенах Лубянки в 91 году я прочитала подробные записи допросов моей мамы. Ее обвиняли в польском шпионаже. И картина переезда в Россию по прочтении записей у меня была намного ярче, острее, чем ее позднейшие рассказы. Я увидела в своем воображении бедную семью, забытого, непонимающего русский язык старика, идущего рядом с телегой, и сидящих на телеге маленькую девочку и молодую девушку, рядом бедный скарб. Я почувствовала их страх перед неизвестностью, их зависимость от провожатых, которые тайком переправляли беженцев через границу, и их затерянность в большом и чужом мире. Господи, сколько таких горемык искали и ищут «землю обетованную» по всем дорогам мира. Как легко читать о беженцах в теплых и защищенных домах. Только тогда, когда я читала эти скудные строчки допроса, меня задело это как-то изнутри, биением сердца, перехватом дыхания, током прошло по нервам. Как привыкли мы к людскому горю и, наверное, еще больше будем привыкать.

Жизнь в коммунистической России



В Харькове семья соединилась, и началась новая жизнь. Были молодость, надежды, желание учиться. Об этом более-менее благополучном периоде жизни я знаю мало. Мама о нем не вспоминала.

Там она познакомилась со своим будущим мужем — литовским коммунистом Казимиром Римкусом.

Он бежал из Литвы, где был арестован за революционную деятельность. В Харькове он учился в Коммунистическом университете национальных меньшинств запада. Там готовили коммунистов-иностранцев для засылки на запад. Когда ему предложили работать на Советы на его родине, у него была уже семья, и под

этим предложением он смог отказаться. Он получил работу в Московском Метрострое, и они переехали в Москву. Это был самый благополучный период жизни. Но мама мало рассказывала о том времени.

Сейчас я спрашиваю себя — почему? Было ли ей мучительно говорить и вспоминать о нем? Или она осознала себя как личность намного позднее, сидя в тюрьме, а потом в лагере? И поэтому говорить, оценивать, размышлять, делать выводы она смогла, накопив богатый человеческий опыт, пройдя через эту трагедию.

В Москве у нее уже были дети. Дочка Атя — Ателла родилась в 28-ом, сын Юра — в 36-ом году. Мама стала преподавать немецкий язык в школе № 317. Все было замечательно. Увлекалась живописью. Даже пыталась поступать в художественный вуз или техникум. Муж, старше на десять лет, любил ее очень. Она вспоминала, как он сажал ее на колени и рассказывал содержание «Капитала» Маркса, говорил о том, как счастливо все будут жить. Для детей построят отдельные интернаты, чтобы они не мешали родителям строить коммунизм. Будут общественные бесплатные столовые. Не надо будет заниматься кухней дома. Иронией судьбы оказалась то, что его сына действительно воспитывало государство в детском доме, отняв у него родителей.

Мне всегда казались очень странными эти разговоры. Понять психологию коммунистов-романтиков очень трудно. Легче понять последующие поколения коммунистов с желанием нажить капитал на своей партийной деятельности. Но настоящей матерью, видно, она еще тогда не стала. Скорее всего, она чувствовала себя рядом с мужем маленькой, заласканной, капризной девочкой. Ее старинная подруга по Москве много лет назад мне рассказывала, что, когда она увидела впервые маму, та произвела на нее вид гордячки, «вечно задирала нос». А дети? Дети были с няней. Конечно, она любила своих детей. Но в ней не проснулась настоящая мать. Она смогла себя реализовать как мать уже в зрелом возрасте, со мной.

Моя сестра



Моей любимой старшей сестры уже нет в живых. Я вспоминаю о ней с нежностью и грустью. Она была веселой, остроумной и яркой личностью. Но судьба ей не позволила до конца реализовать свои способности. Она была старше меня на двадцать лет и очень привязана ко мне, а я к ней.

Ее отношения с мамой были сложные. В молодости мне казалось, что это связано только с тем, что она осталась без мамы в 9 лет. А встретила с ней снова, когда ей было уже 19 лет. Но, став матерью сама и много думая и размышляя над ролью родителей, я поняла, что конфликт между ними зародился, когда сестра была совсем малышкой. Ей не хватало материнской любви. Она постоянно пыталась это показывать. Но взрослые не понимали, принимая ее капризы и истерики за простую блажь или плохой характер. Мама рассказывала, как сестра могла броситься в магазине на пол и закатить истерику. Это же прямой крик о помощи: «Обрати на меня внимание! Люби меня!»

Оставались смутные воспоминания и у сестры. Они не были радостными. Она мне говорила, что это ужасно, что она не любила маму. Думаю, что было совсем наоборот, только обида была настолько больше самого ребенка, что в ней терялась любовь. После ареста мамы жила она в семье тетки, маминой сестры. И, конечно, не могла избежать влияния пропаганды и той лжи, которые ее окружали. Она искренне верила, что родители ее — враги народа. Да что она, ребенок! Если даже моя взрослая тетка и ее муж были уверены в этом. Может быть, они еще сомневались в вине перед Родиной моей матери, но ее муж, несомненно, был врагом. Невинных людей не сажают! Когда сестра встретила с мамой после долгих лет разлуки, то первое время ее просто избегала, и только постепенно восстанавливалось их общение. Отношение к маме у нее было сложное. Ей трудно было находиться долго рядом с ней, но она очень переживала и винила себя за недостаточную любовь к маме и писала ей повинные и трогательные письма.

В послевоенные годы ее ровесников, молодых людей, в маленьком городке было мало. Остаться «старой девой» было стыдно. Ее подруга влюбилась в женатого человека и, поборов страх перед осуждением общества, родила себе дочку, и, конечно, подверглась остракизму со стороны сверхнравственных горожан. Моя же сестра нашла другое решение. Вместе со своей подружкой отправилась в город Кёнигсберг, кажется, уже названный Калининградом, где было, как стало ей известно, много «женихов». И действительно, очень быстро они вышли замуж. Ее муж, простой уральский парень, необыкновенно обаятельный, статный, веселый, прошел с ней весь ее дальнейший путь по жизни и был с ней в последние ее минуты перед уходом в другой мир. Его обожали все продавщицы, заведующие складами, все кухарки, а сестра безумно его ревновала всю жизнь и даже однажды хотела облить соперницу кислотой. Но вовремя образумилась. Они были очень разные и, казалось, мало подходили друг другу. Но с годами они настолько сроднились, что стали одним целым. А страх у нее остался на всю жизнь. Она боялась говорить на улицах громко и меня просила говорить как можно тише, боялась, что ее кто-то услышит. Она пережила

ужас потери отца еще раз, когда я по глупости послала ей его тюремную фотографию. Ее нам дали на Лубянке при ознакомлении с делами родителей. Эта тюремная фотография была страшна. Страшна обреченностью человека, уже смотрящего в небытие. Через пару дней у сестры случился инсульт. Я до сих пор думаю, что виной послужила эта фотография.

Арест



Трагическим годом для маминой семьи стал 1937, а потом и 1938 год. В марте 37 года арестовывают ее мужа.

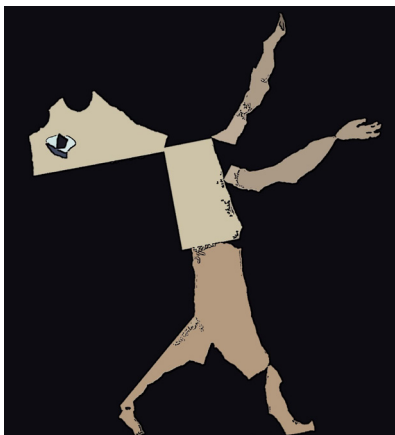
Она ничего не понимает, что происходит в стране. Она не обладает теми зрением и знанием истинной ситуации, которыми обладали очень многие люди, конечно, в первую очередь, среди интеллигенции. Она еще не полностью ассимилировалась, еще живет достаточно замкнутой жизнью семьи, литовского землячества, членом которого был ее муж. Наивная и доверчивая, она сама попадает в силки Лубянки. Она начинает разыскивать мужа, ходит по разным инстанциям. В результате через год приходят за ней. Эту историю я знаю очень хорошо и подробно.

16 марта 1938 года, рано утром, когда она собиралась на работу в школу, позвонили в дверь. Дома были дети. Младшая сестра ее, которой было 18 лет, уже ушла на службу. Ничего не подозревая, она открыла дверь двум незнакомым мужчинам и управдому. Ей вежливо сказали, что есть сведения о муже, только надо поехать с ними, чтобы все узнать. Не переодевшись, в спортивном костюме, она накинула шубку и, оставив двоих маленьких детей на управдома, вышла за пришедшими. Интересно, что на Лубянку они отправились своим ходом, только незнакомцы старались держаться от нее на расстоянии, но не упускали ее из виду. Интересно и то, что точно так же забирали многих людей, и никто из них не сопротивлялся. Люди шли сами, доверяя и надеясь на лучшее.

Маму вежливо попросил снять шубу и впустили в какую-то комнату. Сразу же дверь за ней закрылась. «В первую минуту я не могла понять, где я нахожусь, — рассказывала она. — Вокруг меня находились голые женщины. Их было много». Она даже подумала, что это проститутки. Очень странно, как мне кажется. Это как раз и говорит о ее неискренности. Но через несколько минут она сама стала раздеваться. Дело в том, что комната отапливалась невыносимо, может быть, под полом. Невозможно было дышать. Женщины лежали и сидели очень плотно, и по очереди подползали к двери, ища щель, чтобы глотнуть чуть-чуть прохлады. Насколько я понимаю, это была попытка жарой и страшным психологическим воздействием на человека, чтобы его сломать сразу. Потом ее переправили в Таганскую тюрьму. Сначала в камере было немного народу, и у заключенных были свои матрасы, но ее так быстро заполнили, что скоро пришлось ставить матрасы к стенке, а потом их унесли. Женщины лежали вплотную друг к другу, как сельди в бочке, и по команде поворачивались с одного бока на другой.

Вот там начались ее «университеты», ее настоящее знакомство с народом и страной. Она подписала все, что ей подсказывали следователи, все нелепости и всю чушь. Конечно, ее арестовали за мужа. Но «влепили» ей 58 статью за контрреволюционную деятельность, обвиняя ее в шпионаже. Маму допрашивали два следователя — «добрый» и «злой». «Добрый» уговаривал подписать, уверяя тем самым, что она отделается небольшим сроком. «Злой» — грозил. У нее не было ни политических убеждений, ни желания доказать правду. Скорее всего, она поверила в доброту следователя и в силу самосохранения подписала все, что от нее требовали. И тем самым, возможно, облегчила себе участь и спасла жизнь. Ее этапом отправили на Колыму.

Хранить вечно



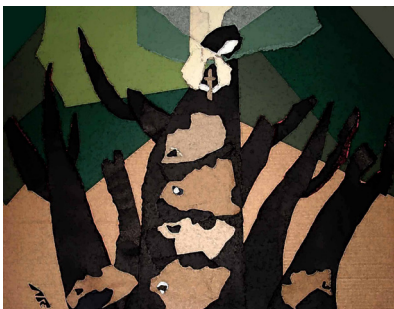
Парки прядут невидимые нити нашей судьбы. Время наносит патину на металл, камень и на зеркала нашей памяти. Но всматриваясь в себя сегодняшнюю, я неожиданно вижу выступающие образы из прошлого моей мамы. Я уже за зеркалом моей жизни. Зеркальный лабиринт выводит меня к другой судьбе. Это судьба маминого первого мужа.

Я уже говорила, что я и брат в 95 году познакомились с делом мамы, а также делом ее мужа Римкуса Казимира Иосифовича, литовского коммуниста. Он был расстрелян в 37 году в Бутове и там же закопан в вырытые для этой цели рвы, как и тысячи других неповинных людей, среди которых было огромное количество священнослужителей. Его дело с надписью «хранить вечно» для меня оказалось намного страшнее, чем полигон с его рвами. На первой странице были его фотографии: сразу после ареста — одна, и, как я понимаю, перед расстрелом — другая. Кажется, память мне не изменяет. Это была фотография обреченного на смерть человека с непереносимым взглядом, смотрящим в бездну небытия. Страшная фотография. Нам разрешили взять копии фотографий, но не допросов. Все остальное мы могли только читать.

Меня поразило, что записи допросов делались за один день до пяти раз. Значит, таскали на допросы очень часто. Обвинения были такие дикие, что диву даешься, как можно было вообще это писать. Обвиняли в шпионаже, попытке проникнуть на какой-то завод, где делают самолеты. Якобы он пересчитывал колеса у самолетов. У него была шпионская кличка «кот». В общем — бред. Видно, что так много приходилось придумывать всевозможных историй для дел «врагов народа», что не хватало фантазии и правдоподобия. Под каждым допросом стояла его фамилия. Страниц с допросами было немного. На всех, кроме последней страницы, он отрицал все. А вот на последнем допросе, где он во всем признался, меня поразила его подпись. Она разительно отличалась от предыдущих подписей. Как будто в человеке что-то сломали, сломали главное — его личность. Его предсмертная фотография и измененная подпись оставили неизгладимый след в моей душе.

Мамино дело было намного скромнее. Допросов было совсем немного. Как я уже говорила, она сразу же подписала все, что ей велели. Но больше всего меня удивило то, что в папке с ее делом лежала бумага, где были написаны мое имя и моя фамилия в замужестве. Казалось, мы смотрим дела давно минувших дней, и вдруг среди бумаг — события совсем свежие и не имеющие конкретно отношение к моей маме, а только ко мне. Это была справка, сообщающая о нашем желании эмигрировать за границу. Мы сидели уже много лет в отказе. Оказывается, все важное, что с нами происходило, фиксировалось. Действительно, хранить вечно и работать с этим делом вечно — таков закон этой организации.

Бутово



Так случилось, что несколько лет назад мама моей ученицы, очень милая женщина, глубоко верующий человек, привезла меня жарким солнечным июльским днем в Бутово посетить расстрельный полигон.

Я знала, что отец моей сестры и моего брата был расстрелян в Бутово. Его фамилию я обнаружила в списке расстрелянных на сайте мемориала. Но в Бутово я до этой поездки не была.

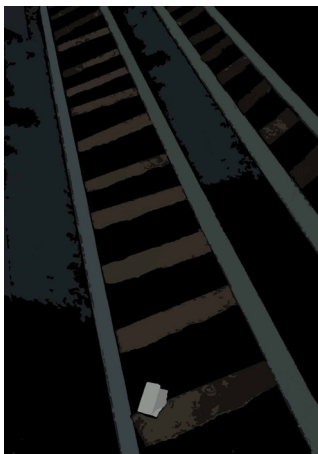
Казалось, тяжелое прошлое моих родных давило на плечи, не давая вырваться из него. И если сама я не решалась совершить эту поездку, то, получив толчок извне, я согласилась немедленно. То, что я увидела, меня привело в глубокую скорбь и в то же время в какое-то просветление.

Был будничный день. Людей не было. Стояла тишина, и непередаваемый покой охватывал землю, покрытую густой яркой травой, ясное небо, деревья. Рвы высились ровными холмами, и вдоль них, на них и повсюду росли деревья, большей частью группами, по два, по три, иногда по пять и больше. Было такое впечатление, что они выросли из сердец вплотную лежавших людей и тянутся теперь в небо как из одного единого вздоха. А рядом светился своей белизной, несказанной милостью для убиенных и убийц храм, где молятся за упокой души первых и за прощение грехов вторых. Рядом стоит маленький деревянный первый храм, построенный в 1995 году на тогда еще мало кому известной территории смерти для народа.

Здесь я в полной мере поняла идею прощения. Без прощения не может быть благодати. Здесь, на маленьком отрезке земли, политой кровью и пропитанной страданием, окруженной забором от всего мира, я почувствовала эту благодать. Такое редкое для нас понятие гармонии мира небесного, земного и человека. Храм был закрыт. Но нам любезно, благодаря Алла, позволили войти. В подклете храма, вдоль стен — предсмертные фотографии расстрелянных, огромные фотографии раскопанных рвов, а рядом лежат найденные вещи убиенных при раскопках, обувь, часть одежды, гильзы. Мы поднялись наверх. В храме вдоль стен висят более 50 икон святымучеников. Я увидела, что на иконах изображались по двое, трое и более священников и вместе с ними иногда прихожане. Алла обратила мое внимание на связь между этими иконами и растущими группами деревьев. Меня это поразило.

Вернувшись домой, под сильнейшим впечатлением от увиденного, услышанного, почувствованного я стала делать картину, которую и назвала «Бутово. Расстрельный полигон».

Записка из ада



Мама о смерти мужа узнала совершенно случайно. Когда они ехали в скотных вагонах, их, политических, разместили вместе с уголовницами, и ее, как обычно бывало, обокрали. Естественно, дома не знали, где она, что с ней. В вагоне какой-то молоденький конвоир пожалел ее и дал ей, когда вел ее в уборную, клочок бумаги и огрызок карандаша. Она написала только «я жива» и московский адрес.

Записку она выбросила в окно. Кто-то из людей, кто видел эти поезда и понимал, каким страшным горем они переполнены, поднял записку и переслал в Москву. Думаю, он там оказался не случайно. Почему-то мне хочется верить, что люди специально ходили и искали эти клочки, исписанные отчаянием и надеждой.

В 80-е годы, когда уже не глушили немецкую волну и ВВС, мы вечерами, замирая, слушали по радио «Гулаг» Солженицына. И однажды я услышала точно такую же историю с запиской. И сразу его книга стала мне родной. Это ведь был рассказ и о моей маме. По настоящему книга перевернула меня.

На каком-то полустанке ее этап столкнулся случайно с мужским этапом, тоже направлявшимся на Колыму. Женщины и мужчины стали перекликаться, спрашивать о своих родных, чтобы что-нибудь узнать о них. Мама выкрикнула фамилию мужа. Кто-то из мужчин-заключенных ответил, что сидел с ним. И что его расстреляли. Что он тяжело переживал пытки, его мучили на допросах.

Ехала на Колыму она уже вдовой. Мама в общей сложности отбыла 9 лет на Колыме. Сначала был лагерь, а потом — вольные поселения. Из ее рассказов помню страшную историю, как умирала от туберкулеза соседка по камере. Как в ужасе стучали в дверь, кричали, молили о помощи женщины в ее камере. О том, как голодные женщины, которые осенью собирали в поле картошку, пытались запечь ее тайком в костре, и как охранник обнаружил и тут же застрелил одну из них. Правда, охранника, кажется, тоже потом расстреляли. Интересно, что с годами лагерная жизнь уже не казалась такой страшной, а к концу жизни, а прожила она почти 90 лет, ей виделось то далекое прошлое светлым и полным жизни. Она говорила: «Ведь мы были на свежем воздухе. Нас кормили три раза в день». Я едко добавляла: «Да, почти курорт».

Потом она работала на разных подсобных работах, пока не попала в совхоз, где занималась овощеводством. Начальник был хорошим, порядочным человеком, относился к ней доброжелательно и даже заботился о ней. Она считалась полувольной, срок подходил к концу. Но жить было одной страшно. Как-то ночью на пороге ее дома убили какого-то человека. Он стучал в дверь, просил открыть, но она жила одна и побоялась. После этого случая она все же решилась поддаться на уговоры своего начальника выйти замуж. Он сватал ее за агронома, тоже бывшего заключенного, получившего 25 лет. Звали его Тимофей Супрягин. Родом он был из Казахстана. Это и был мой отец. По рассказам мамы — небольшого роста, синеглазый, интересный мужчина. Вот только и все его положительные качества. Остальное все подвергалось критике. Он был скупой. Это главное. Потом, он не привык ухаживать за женщинами. А, скорее, наоборот — привык, что женщины стягивают с него сапоги, сами топят печку, носят из колодца ведро с водой.

Для мамы это казалось каким-то варварством. После того, как Казимир ее носил на руках, баловал, относился как к ребенку, такое отношение к себе долго терпеть она не могла. Конечно, это были два человека с абсолютно разным менталитетом. Этот брак был совершен от отчаяния, в нем мама надеялась спрятаться от страха. Не получилось. Единственным сокровищем, которое она в нем приобрела, была я.

Я родилась на Кольме, в селении Эльген. Место, теперь известное очень многим благодаря Евгению Гинзбург, автору «Крутого маршрута», матери Василия Аксенова. Родилась я в местной лагерной больнице. Принимал меня доктор Владимир Александрович Перцуленко. Он был вольный, и буквально за три месяца до моего появления на божий свет у него родилась дочь.

Много лет спустя я совершенно случайно выяснила, что моя коллега по работе, художница Ира Котыльёва, с которой я уже проработала не один год, — его дочь. Сначала мы выяснили, что родились в одном месте, потом, что ее отец работал в эти же годы в больнице. Я затащила ее к нам домой. Мама бережно достала пожелтевшую от времени справку, больше похожую на записку, где было указано о моем рождении, и стояла подпись Перцуленко, ее отца. С тех пор мы с ней подружились, можно сказать, породнились. И хотя мы не были душевно близкими людьми, нити Парок переплели наши судьбы и связали очень тесно.

В 47 году маму освободили с поражением в правах, то есть с условием, что она имеет права жить в определенных городах. Она рвалась на «большую землю». Там, в Молдавии, маленьком городе Бельцы оказались ее родные — дочь, сестра и ее семья. Она уже знала, что сын потерян во время войны. Но надеялась, вернувшись, все сделать, чтобы его найти. Тайком от мужа, одна, с ребенком на руках, лишённая всех прав, в глазах людей «враг народа», добиралась до Молдавии, где надеялась, что закончатся ее страдания. Раньше я пыталась представить себя в ее положении и приходила в ужас. Я бы, скорее всего, не смогла, бросив мужа, ринуться в неизвестность. Она же, сильная и независимая, уже ничего не боялась, кроме потери своих детей.

Молдавия



Жизнь на новом месте была тоже горькой и тяжелой. В Молдавии мама застала голод. На улицах лежали голодные обессиленные люди. По профессии она устроиться не могла. Ей приходилось работать кем попало: кассиром, уборщицей, подавальщицей в пивном ларьке. Но как только начальство узнавало о ее прошлом, то сразу же она оказывалась на улице.

На каждой работе мама задерживалась не больше двух месяцев. Наконец она нашла работу, которая позволяла ей не сталкиваться с властью. Мама познакомилась и подружилась с ретушером тетей Катей. Они стали тайком делать портреты. Все, наверно, знают или видели такие портреты в домах, висящие на стенах. Большие снимки со старых фотографий, «зализанные» и приукрашенные. Мама ездила по деревням и набирала заказы. Они постоянно испытывали страх, боясь, что кто-нибудь на них донесет. Когда мама уезжала, я оставалась дома одна и хозяйничала, как могла. Сама топила печку.

Пройдя через страшные испытания унижением, часто голодом и страхом, она остро чувствовала боль и страдания других людей. Помню, как мама привела домой беспризорного мальчика лет десяти. Он был страшно худой, оборванный и ужасно грязный. Она его мыла в тазу посреди нашей единственной комнаты, потом положила в мою постель, и он так провел у нас несколько дней. Пока он у нас жил, она занималась его устройством. Конечно, мама делала это ради своего потерянного сына, надеясь, что кто-то так же помогает и ему.

Отношения мамы с сестрой и ее мужем были сложные. Муж моей тетки был неплохим, можно сказать, добрым, но очень грубым человеком. Даже я, маленькая девочка, это чувствовала. Иногда происходили ссоры, после которых общение между сестрами на некоторое время прекращалось. Но их привязанность друг к другу все побеждала, и в доме снова наступали спокойствие и миролюбие. Я очень боялась своего дядю, его голос, грубый тон, его окрики. Со своими детьми он расправлялся просто, особенно со старшим, озорником, — под рукой всегда был ремень, лупил он его беспощадно. Мама часто встревала в эти побоища, и тогда снова возникали ссоры. Я родилась левой, и когда мы садились за общий стол обедать, мой дядя грозным рыком приказывал мне держать ложку в правой руке. И я, трясаясь от страха, вжимала голову в плечи и старалась быть незаметной. В старости он стал мягче, и тогда особенно видна была его глубоко спрятанная доброта. Он был простым, достаточно прямолинейным, звезд с неба не хватал, истинно верил в партию и в политику, которую она совершала. И, конечно, в товарища Сталина, «отца народов». Он был коммунистом и очень маленьким начальником. После ареста мамы он не побоялся взять в жены ее сестру, у которой на руках оставались маленькие дети. Точно не знаю, в каком году они поженились. Но это случилось до войны. В начале войны они эвакуировались в Молдавию. Он занимал какой-то большой пост, работая в торговле. Это давало ряд преимуществ перед простыми смертными. И, надо сказать, неплохих преимуществ.

Помню гору подсолнечников, которых привозили из деревень. Семечки выбивали прямо у нас во дворе, а потом везли на маслобойню, где делали из них подсолнечное масло. Помню огромные бидоны со сметаной, такой густой, что в ней ложка просто стояла. Помню, как варили повидло во дворе в огромных чанах. А еще были праздники и пиршества, где ставились длинные столы и подавались особые сладости, торты, которые делала старая румынка, кажется, ее звали Еленой Петровной. Ее специально приглашали для выпечки тортов.

Наш двор

И вот я снова перед моим первым зеркалом. Все яснее я вижу в нем маленькую девочку, а еще лучше все, что окружает ее. Я вижу наш двор так ясно, что помню каждый кусок земли. Вот за домом земля какого-то сложного состава. Когда копали грядки (однажды пытались это сделать), то попадались уголь, обломки кирпичей, стекло. Странное было место. Так грядки и не получились. Во дворе напротив дома стоял ряд сараев. Был наш сарай, рядом сарай соседей, потом сарай соседей соседнего дома (из трубы которого должен был идти дым, когда я ела кашу). А рядом была деревянная уборная, очень ветхая и страшная.

В сарае соседей дядя Витя, коренастый мужчина с черными усиками, художник, как я тогда думала, оборудовал себе мастерскую, в которой писал вывески. Я очень любила наблюдать за этим процессом. Могла часами стоять рядом с ним. Когда он работал, это был тихий и спокойный человек. Он очень хорошо относился ко мне. Но иногда на него находило безумие (скорее всего, во время запоя), он гонялся с топором за своей женой, тетей Шурой, высокой и красивой брюнеткой, и клялся ее убить. Был ли повод для таких бурных сцен, я тогда не знала, да и не могла знать. Иногда его безумие доходило до апогея, тогда бедная тетя Шура пряталась в квартире моей тетки. Закрывались все ставни, и мы сидели в темноте и страхе, пока он бушевал во дворе. Потом, обессилев, он отправлялся домой. Мы открывали ставни, и жизнь продолжалась. Очень страшно было, когда мы с мамой слышали сквоззю тонкую фанерную перегородку стоны избитой тети Шуры. Но почему-то милицию никогда не вызывали. Сейчас я понимаю, что жизнь ее в такие минуты висела на волоске.

Во дворе дома была большая клумба. Она маскировала выгребную яму. Иногда, не помню, как часто, приезжала машина, которая очищала эту яму. Зловонный запах тогда заполнял весь двор и вырывался на улицу. Потом мы закапывали яму и старательно сажали цветы на клумбу. А через некоторое время вновь приезжала машина, и вся красота заканчивалась. Начиналась правда жизни. Во дворе в конуре жила собака. Это был сторожевой пес. Сидел он на цепи. И, кажется, с цепи его не спускали.



Но зато по двору разгуливали часто куры. В сарае был настоящий курятник. Там всегда было темно, пахло сыростью, куриным пометом и незнакомыми мне запахами. Каждый день раздавалось истошное куриное кудахтанье. Это неслись куры. Куры предназначались для теткиной кухни.

Кухня была большая, холодная, почему-то очень неудобная. Какое-то время там жила девушка, помогавшая по дому. Чтобы украсить как-то еще жилище, я и братья наклеивали на стены открытки. Это был мой первый опыт «оформления интерьера». Одной курице мама спасла жизнь. Абсолютно белая, с маленьким красным хохолком и внимательным взглядом, она тихо кудахтала, когда мама, сидя перед ней на корточках, с ней общалась. Мама считала ее очень умной. Она долго у нас жила, в то время как ее сородичи менялись один за другим. Что стало с ней в дальнейшем, не помню. Обычно жизнь кур заканчивалась тут же, во дворе. Им отрубали головы, а потом очищали от перьев. Все происходило на наших глазах. Конечно, мы убежали куда-нибудь. Но увиденное мною случайно оставило осадок на всю жизнь. Помню, когда я смотрела фильм Тарковского «Зеркало», то эпизод с курицей меня сразу же вернул в детство и заставил пережить это детское чувство ужаса от происходящего. Во дворе рядом с верандой росла очень старая сирень. Это было большое, я бы сказала, дерево с искривленным стволом, по которому любили лазать мои братья. Помню, в какой-то год она цвела весной и осенью. Это был для нас настоящий праздник. Мы всегда загадывали желания, усердно отыскивая цветки из пяти лепестков, и потом съедали их.

Играли мы обычно во дворе. Для нас он казался большим, и в нем происходили всевозможные истории. Мои старшие двоюродные братья любили играть в футбол. Ну а меня, конечно, ставили на воротах. Никогда не было скучно. Как-то рабочие, копая яму то ли для уборной, то ли для сарая, обнаружили горшок с монетами. Это были золотые монеты. Видно, хозяин дома, румын, когда бежал, в спешке их закопал. Рабочие пытались найденные монеты припрятать, но моя честная мама уговорила их отдать властям. Может быть, она отвела от них беду. О кладе знала вся улица, а завистников всегда много. Это было настоящее событие для нас. Клад, золотоискатели, история клада! И все тут же у нас, рядом! После такой находки мы некоторое время копались в сарае. Да не только дети, но и соседи под предлогом каких-то нужд перекапывали землю у себя в сарае.

Еще наше внимание притягивал погреб под домом. Вход вел в него с веранды. Пол в этом месте был очень хилый, доски прогибались. Мы всегда с опаской обходили его. Погреб часто использовали, но только две-три первые ступеньки. Они были каменные, высокие и покрытые зеленым мхом. В глубине блестела вода. И из мрака веяло пронизывающим холодом. Он был таинственным и мрачным. Настоящее царство Аида. Никто не спустился вниз до конца и его не обследовал. Возможно, какие-то тайны он и скрывал. Двор отделился от улицы чугунными ажурными воротами. Пожалуй, они были самые красивые на всей улице, скорее всего, просто таких чугунных ворот в городе больше не было. С этими воротами у меня были связаны не очень приятные воспоминания. Мои двоюродные братья были старше меня и к тому же большие озорники. Я же была доверчивым добрым ребенком. Как-то зимой они предложили мне лизнуть ворота, наверняка соврав мне, что они очень сладкие. И я совершила эту глупость. И сразу была наказана. Язык приклеился к воротам. Мальчишки были страшно довольны, а я от страха и ужаса редела в голос. Как меня спасали, не помню.

Дом, одноэтажный, большой, был разделен на две части и имел с каждой стороны двор. С нашей стороны жили три семьи. С другой стороны дома жили какие-то старухи, детей, кажется, не было. Все говорили очень протяжно, с характерным слегка местечковым акцентом. Обращались к тетке «мадам Логвинова!». Как обращались к моей маме — не помню. Когда в 12 лет я, приехав жить в Москву, пошла в школу, то, естественно, говорила с этим жутким акцентом, при этом ставя еще неправильные ударения. К тому же я еще ухитрялась страшно жестиковать. Слушая меня, дети катились от смеха. Но прошли годы, и весь молдавско-еврейский налет в моей речи исчез.

Смерть Сталина



Очень хорошо помню реакцию людей и города на смерть Сталина. Город как будто потускнел, сжался. По улицам ходили люди с черными повязками на рукавах. Почему-то даже небо, мне казалось, в те дни было только чугуносерым.

Везде висели флаги с черными лентами. В домах поселилось настоящее горе. Как будто люди заражали друг друга этим горем. В нашем доме, хорошо помню, слегла от горя моя тетка. Она искренне верила, что со смертью Сталина жизнь остановилась. И среди этого общего страдания мама и я были, кажется, одни счастливы.словно с его смертью мы освободились немного от страха, смогли передохнуть на мгновение, набраться сил от осознания этой смерти, чтобы жить дальше.

Были ли у мамы надежды на что-то лучшее, не знаю. Даже если они и были, то для нее вплоть до 1956 года ничего не изменилось. Работу свою она вынуждена была скрывать. Работала она по-прежнему с ретушером. Мама ездила по деревням и собирала заказы на портреты. Работали они по ночам, чтобы никто об этом не знал. Вечно боялись стука в дверь. Этот страх тоже отложился во мне. Тетя Катя жила на Московской улице, тихой и зеленой, с мужем и дочкой Лялей, с которой мы часто играли, когда наши мамы тайком работали. Вокруг было много деревьев, и осенью, когда опадали листья, во дворе собирали их в огромные кучи, а мы съезжали с них, как с зимних горок. Ее муж, невероятно вспыльчивый и драчливый, постоянно терроризировал ее и дочку. И, конечно, я его панически боялась.

Я часто прохожу мимо импровизированной барахолки, расположенной вдоль дороги недалеко от нашего дома, и иногда мне попадаются на глаза такие же портреты, увеличенные со старых потрепанных фотографий, с грубой ретушью, нарисованными, будто приклеенными, волосами и обязательно с белым воротничком у женщин и галстуком у мужчин. Видя эти портреты на земле, рядом со старой убогой советской посудой и потрепанными книгами, мне становится тяжело на душе, я чувствую, как судьба этих умирающих вещей и их владельцев давит мне на плечи, и стараюсь поскорее проскочить мимо.

Все эти годы после освобождения из лагеря мама искала сына. И всегда получала отказ на поиски. Ее в очередной раз вызывали в милицию и сообщали, что она должна прекратить его искать, что она враг народа и что у нее надо забрать еще и меня. Каждый раз после такого поиска ее приходилось долго приводить в чувство. Мама опять начинала трястись от страха, теперь боясь потерять меня. Я уже говорила, что страх был моим первым глубоко пронизывающим меня чувством, конечно, не считая любви к маме, которая отличалась бесконечной взаимностью. Любовь мамы была огромной. Эта любовь меня защищала от

внешнего мира, и я купалась в ней. Для мамы я была той соломинкой, за которую она держалась, чтобы не утонуть в отчаянии. И эта любовь была настолько сильной, что даже когда я стала взрослой и имела уже свою семью, она считала меня маленькой, неразумной девочкой и постоянно пыталась защищать меня от всех жизненных невзгод, какие она только рисовала себе.

Я же, в свою очередь, боялась потерять маму. И в этом была отчасти и ее вина. Она, иногда кокетничая, особенно с мужчинами (может, это было и не кокетство), просила их позаботиться о ее дочке, если она умрет. И это все говорилось при мне. Я слушала такие разговоры не раз, и поэтому страх потерять ее был очень сильным и жил во мне все детство.

В том же 53 году я пошла в школу. Благодаря маминной любви я была дружелюбным ребенком с доверчивым, веселым и общительным характером. Занималась в драмкружке и в изостудии. Мама читала мне много книг (брала из библиотеки). Помню, как она читала мне отрывки из Эренбурга. Первые уроки нравственности я тоже получила от нее. Жили мы бедно, но я это совсем не чувствовала. У меня было очень мало игрушек. Запомнилась только одна — кукла с пластмассовой головой и туловищем, сшитым из тряпок. В детском саду поразили мое воображение игрушечная посуда и плита, коричневая, блестящая, на две конфорки. Мне так захотелось ее иметь! Я тайком принесла ее домой. Мама, конечно, сразу ее обнаружила и заставила отнести в детский сад и признаться в этом проступке. Я сильно плакала, мне было невыносимо стыдно, но никакие мои уговоры не делать этого на маму не подействовали. Я запомнила этот урок на всю жизнь.

Мой брат



Судьба моего брата Юрия сложилась не менее трагически, чем судьба моей мамы.

После ареста мамы двое ее детей некоторое время жили с ее сестрой Хелей. Ей было в это время 18 лет. Она работала секретаршей в издательстве, была милой и веселой девушкой, преданной партии комсомолкой. У нее было много ухажеров, над которыми она любила шутить. Так, назначая свидание сразу двоим ухажерам под своими окнами в одном и том же месте, потом посмеивалась, наблюдая за ними из окна. Оказавшись одна с двумя детьми, она растерялась. Атя была уже большой девочкой, с ней можно было справляться. А вот Юра был настолько мал, что его нельзя было оставлять одного дома.

Какое-то время помучившись, она сдала его в детприемник. В сорок первом году из Москвы стали эвакуировать детдома. Дом ребенка, где он был, выехал в Краснодар.

Дальнейшую историю его жизни я рассказываю со слов брата. Первым его воспоминанием были огни светофора в большом городе. Ни маму, ни отца он не помнил. Затем очень маленькая комната, тесно стоящие четыре кровати, маленький стол. Какая-то сердитая женщина дает ему граненый стакан кофе с молоком. Он прикасается к нему и отдергивает руку, так как кофе очень горячий. Стакан падает на пол, кофе разливается и стакан разбивается, женщина начинает орать. Он страшно напуган. Вероятнее всего, это воспоминание относится к его жизни в детском доме еще в Москве.

Затем отрывками идут другие воспоминания, связанные с войной. Он с группой ребятишек и воспитательниц бредет по степи. Самые маленькие ребятишки сидят на подводе. Рядом идут другие люди. Все они беженцы. Почему-то подвода застревает, то ли в канаву попала, то ли колесо слетело. Навстречу идут солдаты. Они идут к фронту. Они вытягивают телегу, потом дают детям хлеб с медом. Этот вкус хлеба с медом брат помнит до сих пор. Потом в памяти выплывает картина брошенной усадьбы, где они некоторое время отдыхали. Сад с обгоревшими черными деревьями и почему-то на них висящие красные абрикосы. В доме на плите стояла кастрюля с еще теплым куриным супом, а в огороде были огромные тыквы, на которых помещалось по трое ребятишек. Дети нашли какую-то книгу, читать они не умели, но брат расставаться с ней не хотел и носил ее с собой несколько дней. Я его спрашивала, было ли страшно. Нет, страха он не помнит. Главным и сильным чувством было чувство голода. Они все время искали что-нибудь поесть.

Следующее воспоминание связано с переправой и бомбежкой. Понтонный мост, по которому переправляются люди на другой берег. Солнце садится, оно слепит глаза. На берегу зенитные пулеметы. Он вместе с мальчишками крутится около солдат, собирая гильзы. На его долю не достается, и он просит солдата «выстрельнуть», чтобы получить гильзу. Солдат страшно ругается. А в это же время немецкие самолеты бомбят переправу. Скорее всего, именно в это время дети оказались одни без взрослых. Может быть, воспитательницы и няни были убиты. Дети разбрелись по окрестностям. Брат вместе с мальчиком, которого звали Женя Решетников, забрели в село Отрадное. Вероятно, они долго бродили голодные и усталые. Была осень. Наши войска уже ушли. Немцы еще не пришли. Было какое-то странное напряжение в воздухе. Тихо, и никого нет. Местные жители попрятались по домам. Вдруг мальчики увидели женщину с девочкой в красном с горошком платьице. Решили притворно плакать, чтобы она их пожалела и взяла с собой. Она хотела было пройти, но девочка уговорила ее взять их. Тогда она отвела детей в местную больницу. Доктор не хотел ребятишек брать, так как они не больны. Нянечка, пожилая женщина, сказала им: «А вы почешитесь». Мальчишки почесались, и она уговорила доктора взять их, сказав: «У них ведь чесотка». Под таким предлогом они остались в больнице. Мальчишек прозвали гусями, так как они носили белые длинные рубахи и бегали с голыми покрасневшими ногами. Потом появились немцы. Они строили переправу. Мальчишки бегали смотреть, как они строят. Немцы к ним относились спокойно.

В больнице лежали, кроме местных больных, раненые русские и немцы. В одной из палат лежал немецкий офицер. Брат случайно забрел в эту палату. Около кровати стоял буфет, за стеклом на полке виднелась банка с вареньем. Он пытался пообщаться с немцем. Тот его не понимал и что-то бормотал на своем языке. Довольный таким странным разговором, брат вышел из палаты, но затаил страстное желание получить банку варенья. Ему пришла в голову идея выменять у немца эту банку. Но на что? Он стал лихорадочно искать вокруг, но ничего подходящего не было. Заглянув в уборную, он увидел на полу листок из отрывного календаря. Схватив его, брат помчался в палату к немцу. Немец взял листок,

стал его изучать, затем перевернул на другую сторону и... О, ужас! Листок был испачкан. Кто-то подтерся и бросил его. Бедный мой несмышленный братишка! Но в данную минуту его выручило самосохранение. Он вдруг почувствовал что-то неладное, лицо у немца вытянулось, и в следующую минуту брат рванул из палаты, а вслед ему летели костыли немца.

Беспризорных ребятишек собрали и переправили в другое село Горячий Ключ в детский дом. Брат запомнил комнату, где они ночевали — одна лампочка, на полу сено, на котором лежат ребятишки, для него места нет. Он ложится на голый пол и пытается как-нибудь поудобнее устроиться.

Затем он попал в Армавир. В городе еще были немцы. Наши бомбардировщики бомбили город по ночам. Нянечка, пожилая женщина, рассказывала детям про Бога и учила их молиться. Одной ночью в постели он так долго и усиленно молился, встав на колени, отбивая поклоны, что упал в изнеможении и заснул. Утром, проснувшись, он обнаружил, что комнаты пусты, нет ни детей, ни взрослых. Даже матрасы исчезли. Потом выяснилось, что ночью была сильная бомбежка, все спрятались в подвале, а его забыли. Свет не горел, в темноте и впопыхах его не обнаружили. Соседний дом полностью был разрушен. Бомба угодила в него. Вокруг тоже все пылало. А детский дом не пострадал. Думаю, благодаря детской отчаянной молитве.

После освобождения города в детдом приходили местные жители и брали детишек к себе. Брату не повезло. Он никому не приглянулся. Интересно, что воспоминанием, которое перевернуло его сознание, как он выразился, была история, совсем далекая от войны. Как-то, гуляя по двору, он увидел цыпленка на траве. Ему захотелось его взять на руки. Чтобы он не убежал, братишка прутиком, который был у него в руке, пытался прижать к земле его лапки. Прут как-то неудачно соскочил и ударил цыпленка по голове. Цыпленок упал и испустил дух. Брат испытал сильный шок. Он заплакал. Я спросила, что же с ним было. Он сказал, что осознал, что стал виновником гибели другого существа. И это его воспоминание, как мне показалось, было одним из самых ярких и трагических.

Учился он хорошо. Любил читать книги, прекрасно рисовал. Мечтал стать художником. Друзей в детском доме у него не было. Как-то подобрал сломанный велосипед и починил его. Но недолго катался на нем. Мальчишки сломали его. Кажется, это была маленькая месть. Школу закончил с медалью. Надо было выбирать профессию. Воспитательница посоветовала стать военным — всегда накормлен, всегда есть жилье. Он же хотел стать художником, но прислушался к совету и поступил в морское военно-инженерное училище в Ленинграде.

Реабилитация

То, что в Москве прошел 20 съезд партии, на котором впервые открыто заговорили о репрессиях, мама узнала гораздо позднее. Провинцию свежий ветер достигает не так быстро. Узнала она о событиях, происходящих в Москве, можно сказать, случайно. Она была в Ессентуках в доме отдыха. И там познакомилась с людьми, которым были известны все последние новости, и которые сказали ей подать на реабилитацию. Мама, приехав домой, сразу же стала собираться в Москву. И там заодно решила заняться поисками сына. Я осталась с семьей моей тети. Событий было так много, и все происходило так быстро, что сейчас мне кажется, будто это произошло за одно лето. Был 1958 год. Мама жила у своей старинной подруги тети Лены Карпенко, в самом центре Москвы на улице Станиславского. Сейчас это, как и до советской власти, Леонтьевский переулок. Вернулась она в приподня-

том настроении, вся взволнованная. Как быстро шел процесс ее реабилитации, не помню. Но она уже знала, что ее сына будут искать.

В Москве она обратилась в редакцию газеты «Известия», и там помогли ей с поисками сына. Кажется, не прошло и года, как его нашли. Она выехала в Ленинград для встречи с сыном после 18-летней разлуки. Как потом рассказывала мама, это были безумно волнующие и в то же время страшные минуты ожидания, когда откроется дверь, и войдет ее мальчик, которого она видела только маленьким доверчивым двухлетним ребенком. Для брата эта встреча была тоже страшной и, может быть, еще тяжелее, чем для мамы. Он ее совсем не помнил и поэтому рисовал перед собой ее образ, совершенно не совпадающий с реальной женщиной, стоящей перед ним. Что они испытывали в эти первые минуты, мне трудно представить.

Через некоторое время брат приехал на каникулы к нам. Вот теперь мама была счастлива. Она трепетно относилась к нему на протяжении всей своей долгой жизни. А он, лишенный ее любви в детстве и не испытывавший сам любовь к матери, относился к ней трогательно и иногда даже деспотично, опекая до конца ее жизни.

Где-то весной мама снова уехала в Москву, уже плотно занимаясь реабилитацией. Я осталась со своими родственниками. В это лето они переехали в Черновцы. Я прожила у них примерно около года. Рядом с домом был сад. Деревья были старые, но яблок было много. Весь двор был усеян ими. Дядя делал из них вино, а мы, дети, помогали ему. К этому времени дядя уже потерял статус маленького начальника, поэтому жизнь была голодной и холодной. Дом плохо отапливался, стоял на юру, обдуваемый всеми ветрами. Зимой мы все ютились в самой теплой комнате, около большой кафельной печи, так как остальные невозможно было прогреть. Я ходила в местную школу, познакомилась с украинской поэзией и очень полюбила Лесю Украинку. Вероятно, тогда я стала увлекаться поэзией. Мне было тоскливо без мамы и неудобно в семье моих родственников.

Мне уже двенадцать лет. Я глядявуюсь в зеркало и вижу девочку с большой толстой косой, веселую и в то же время робкую и очень неуверенную в себе. Она любит читать книжки и пересказывать их подружкам. Особенно это приятно делать по дороге домой из школы, загребая ногами осенние листья. Этот шорох листьев преследовал меня потом долгие годы, вызывая необъяснимую тоску, тоску по детству.

А потом был переезд в Москву. И бесконечное мамино хождение по разным учреждениям. Была какая-то бешеная переписка. Приходили всякие справки. Они до сих пор хранятся у меня. Маме выплатили трехмесячный оклад из школы, где она работала перед арестом. Она побывала в доме у Красных ворот, где жила с семьей в то время, и увидела у соседней диван, принадлежавший ее семье. Помню, как к ней приходила знакомая по заключению, худенькая, одетая почти нищенски женщина. Она тоже занималась реабилитацией. И, кажется, хлопотала еще за мужа, тоже пропадающего в лагерях.

Я часто расспрашивала маму о других лагерниках. Но мама очень неохотно о них говорила. Только с одной подружкой по лагерю, тетей Клавой, она поддерживала близкие отношения. Та помогла ей устроиться на работу. Все объяснялось просто. Она давала подписку о неразглашении всего, что она видела. Страх был настолько сильным, что подавлял всякое желание общения. А может быть, было желание все забыть.

Общалась она еще с одним знакомым-лагерником по фамилии Кнорозовский, высоким

седьм человеком очень приятной наружности. Он отсидел два срока, но был удивительно светлым и не озлобленным человеком. Кажется, он был тоже из Польши, из Белостока. Уже не помню. Но на всю жизнь я запомнила его рассказ из лагерной жизни.



В нескольких километрах от их лагеря был женский лагерь. И мужчины знали об этом. Тоскуя по женскому теплу, женской ласке, они, рискуя жизнью, пробирались по канализационным трубам под землей, чтобы встретиться или найти себе любимую и забыться в объятиях на короткие, тайком украденные минуты. Естественно, после таких встреч появлялись дети. И вот, раз в год новорожденных малюток забирали у матерей и увозили из лагеря. Вселенский бабьей вой поднимался в небо и разносился во все стороны, и эхо подхватывало его. Это была самая страшная пытка для мужчин.

Новая жизнь

Весь этот год мы жили у маминой подруги на улице Станиславского. Квартира была коммунальная, такая воронья слободка. В комнате, в которой мы жили, меня больше всего привлекал к себе комод, набитый книгами. Там я обнаружила собрание сочинений Мопассана и с увлечением перечитала все. Потом мне попалась дореволюционная книга Бунина «Митина любовь», которая произвела на меня неизгладимое впечатление. До сих пор, когда я вспоминаю этот рассказ, я испытываю сладкое чувство горечи и печали.

Тетя Лена Карпенко жила одна. У нее были дети, уже взрослые. Она была архивистом, но, кажется, в то время, когда мы у нее жили, уже не работала. Обстановка комнаты была аскетичной, почти бедной. Кроме комода с книгами в комнате стоял маленький телевизор с крошечным экраном и с увеличительным стеклом перед ним. Тетя Лена большую часть времени лежала на раскладушке перед телевизором, и больше ее мало что интересовало. Свою кровать она отдала нам. Тетя Лена была необыкновенно доброй и, несмотря на то, что мы жили все в одной комнате, никогда не раздражалась, не выказывала свое недовольство нами. Тогда мне казалось, что это так и должно быть. И только сейчас я понимаю, как добры, отзывчивы к другим и как нетребовательны были люди к своему быту.

В Москве меня поражало все, начиная с лифта и заканчивая зимним пейзажем за окном. Мне было странно видеть огромные многоэтажные дома, и люди, казалось, там живут, как птицы в гнездах. Мое узнавание Москвы расширялось постепенно, начиная от дома и школы, которая была через дорогу, и продолжалось в направлении Никитских Ворот — в одну сторону, и к Охотному ряду — в другую. Этот первый год моей жизни в Москве отло-

жился в моей памяти зрительными неповторимыми образами, запахами, звуками, открытием большой литературы. Зимой город был весь белый от снега, который скрипел сказочно под ногами. Многие женщины ходили в ушанках и валенках. В московских квартирах стоял совершенно неповторимый запах, запах какой-то далекой жизни, которую я никогда и не знала. Он притягивал и волновал. Он шел от старинной мебели, вещей, посуды, книг.

Школа, в которую я пошла, была рядом с домом. Я чувствовала себя одинокой и боялась всего — уроков, учителей, детей. От московских детей я отставала по всем предметам. Часто не понимала, о чем идет речь на уроке. Единственным предметом, который я любила, была литература. На переменках дети чинно ходили парами по коридору, никакой беготни, девочки ходили только с косичками. Этот первый год моей учебы в школе был последним годом работы для ее директора Панны Ивановны Неклюдовской. С ее уходом наступила новая эпоха в школьной жизни. Ушла строгая дисциплина, появилась видимость некоторой свободы. Ведь в стране все тоже менялось. У меня появились подружки. Одна из них осмелилась прийти в школу с короткой стрижкой. Скандал был большой. Меня, как подружку, вызвали к директору и попытались запретить с ней дружить. Правда, не помню, было ли это при новом директоре или до него.

Новый директор Григорий Иванович Суворов был представителем времени «оттепели». Я его очень любила и не боялась. За глаза мы называли его Гришкой. Во время уроков он часто прохаживался по школе, и когда меня выгоняли из класса за болтовню, я сталкивалась с ним в коридоре. Он не только не ругал меня, но, обнимая за плечи, вел к себе в кабинет, при этом расспрашивал о здоровье моей мамы. Школу я полюбила, я пропадала в ней целыми днями, занимаясь всем чем угодно, но только не учебой.

Мама и мой брат упорно ходили по инстанциям, добиваясь, чтобы нам дали хотя бы комнату. И мама получила ее благодаря литовскому правительству, которое ходатайствовало за семью своего расстрелянного соотечественника. Это были лучшие годы в маминой жизни. Нашелся ее старший брат и его семья. Сын часто приезжал, был всегда внимателен и почти каждый месяц посылал денежные переводы. Мама работала. У нее появились новые подружки.



И было у нее одно любимое занятие — гадание на картах. Где она научилась, я не знаю, возможно, в лагере или Молдавии. Гадала она часто, и, кажется, карты ее успокаивали. Это был целый обряд, где господствовали тишина и серьезность. Карты ложились у нее под рукой так, что обязательно вначале кто-то замыслил злодейство, кому-то грозили казненным домом или болезнью, и, конечно, была нехорошая пиковая дама. Зато появлялся или «ложился у ног» бубновый валет, тайный воздыхатель. Но, когда звучали мамины слова «что ждешь» и «чем успокоишься», становилось ясно, что все обязательно будет хорошо.

Это был явно психотерапевтический акт. И мамы подруги, да и я, когда чем-то были расстроены, просили ее погадать. Мы садились рядышком, и если кто-то начинал говорить или хихикать, она делала «страшные глаза», и все сразу замирали. Мама любила русскую поэзию. Думаю, с ней она познакомилась в лагере. Очень любила Лермонтова. Когда в 2014 году в 200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова я ездила с выставкой в Пензу (а потом в Тарханы), то на концерте, посвященном Лермонтову, услышав его стихи и написанные на них романсы, вновь окунулась в детство и почувствовала щемящую нежность и тоску по маме. Она была кокетливой женщиной, и за ней еще ухаживали многие мужчины, но личная жизнь ее заключалась только в любви к своим детям и воспитании меня. Она часто говорила, что я была спасением и смыслом ее жизни.

Прошло много лет. Мамы уже давно нет. Но с каждым годом я чувствую, как она больше заполняет меня, как я во многом становлюсь ею. И то, что меня в ней иногда возмущало или раздражало, становится моей сутью. Она живет во мне, и эта наша душевная жизнь не знает ни противоречий, ни горести непонимания, но только наполнена бесконечной любовью.

Людмила Григорьева-Семятицкая